

Мысль и Слово: подходы Л.С. Выготского и Г.Г. Шпета. (часть 2)*

В.П. Зинченко,
академик,
доктор психологических наук

Статья посвящена рассмотрению взаимодополняющих оснований в подходах Густава Густавовича Шпета и Льва Семеновича Выготского. В ней также дается подробный анализ психологической и философской литературы по проблеме соотношения мышления и речи.

Ключевые слова: мышление, речь, образ, смысл.

Обратимся к трактовке Г.Г. Шпетом структуры слова. Особое внимание при этом нужно уделить значению и смыслу, которые Л.С. Выготский называл внутренней стороной слова. Г.Г. Шпет, вслед за В. Гумольдтом, говорит о внешней и внутренней формах слова. Но не только. В структуре слова он выделяет внешние, чистые, или онтические, и внутренние формы. Морфологические, или морфемные, формы есть внешние формы слова. Чистые, онтические, формы, несущие предметный смысл, Г.Г. Шпет вводит, имея в виду отличие предмета от вещи. Номинальным знаком наличной или вспоминаемой вещи является слово. Когда речь идет о вещи, то в слове представлен чувственный момент; когда же речь идет о предмете, то этот новый в структуре слова момент является умственным, интеллектуальным. И слово уже относится не к чувственной, а к интеллектуальной данности: «Слово указывает теперь на нечто презентующее, достигаемое не по указательному персту, не по чувственной, а по интеллектуальной интуи-

ции. То, на что теперь указывает слово, *подразумевается* под ним, под словом *подразумевается* предмет» [21, с. 399]. И далее: «“Предмет” подразумеваемый есть только некоторый пункт внимания, “нечто”, задаваемая тема. Выполнение, осуществление (по содержанию), разработка темы есть дело дальнейшее, предполагающее новые данности, новые функции, новые углубления и “ступени”. Предмет только вопрос, даже загадка, *x*, условия для раскрытия коего еще должны быть даны и постигнуты каким-то другим способом» [там же, с. 194]. И наконец: «Всякая действительно, эмпирически, реально *существующая* вещь, реальное лицо, реальное свойство, действие и т.п. суть *вещи*. Предметы – возможности, их бытие идеальное» [там же]. Шпет различает бытие фактическое, «бытие в мире», и «бытие в идее». Важно подчеркнуть, что «бытие в идее» есть бытие интенциональное, и тем не менее это предметное бытие, несущее в себе предметный смысл. Подобное предметное, оно же идеальное, бытие представлено в онтических,

* Часть 1 см.: Психологическая наука и образование. 2003. №4.

или чистых, формах слова. Итак, значение слова всецело лежит в сферах *онтологических*: «Где бы и какой предмет мы ни называли (будет ли этот предмет вещь или отношение), мы не можем ограничить слово его номинативной функцией, а должны констатировать за ним также функцию *значащую*, т. е., что бы мы ни называли, мы высказываем также или *констатируем* нашим высказыванием *о нем его* содержание и смысл – *resp.*, воспринимаем их» [23, с. 280].

Перейдем к внутренней форме слова: «Между формами онтическими (вместе с их формальным содержанием) и между формами морфологическими (с их содержанием, которое то же, что и у онтических форм) вклинивается, как *система отношений между ними*, сплетение новых форм, именно форм *логических*» [20, с. 398]. Логические формы – это формы существенного смысла (я не останавливаюсь на претензиях Г.Г. Шпета к формальной логике). Внутренние логические формы сами конкретны как формы смыслового содержания. Они суть «отношения», термины или крайние члены которого – языковая эмпирическая форма слова и принципиальный идеальный («отношение») смысл. Шпет приводит специальную аргументацию относительно строгого соответствия и возможности перевода с языка логики на язык онтологии и обратно. Это обеспечивает практически неограниченные возможности взаимодействия между морфологическими, онтическими и логическими формами. Если искать аналог внутренних логических форм в психологической литературе, то ближе всего к ним подходят представления Ж. Пиаже об операторных структурах. Это специальный вопрос, который выходит за пределы настоящего анализа.

Дополним то, что мы уже узнали от Л.С. Выготского о смысле, соображениями Г.Г. Шпета: «Разум, то, что понимает, и есть функция, направленная на усмотрение смысла... В структуре слова его содержание, смысл принципиально занимает совсем особое место в сравнении с другими членами структуры. Смысл не отделим, если воспользоваться уподоблением этой структуры строению и сложению организ-

ма, от прочих членов, как отделимы костяк, мышечная система и т. д. Он скорее наполняет наполнение кровеносной системы, он – питание, разносимое по всему организму, делающее возможным и нормальную логику его мозга-псикики, и радостную – его поэтических органов чувств. Однако смысловое содержание можно уподобить той материи, которая заполняет собой пространство, из вращательного движения которой вокруг собственного центра тяжести и от конденсации которой складываются в систему хаотические туманности. Живой словарь языка – хаос, а значение изолированных слов – всегда только обрывки мысли, неопределенные туманности. Только распределяясь по тем многочисленным формам, о которых до сих пор была речь, смысл приобретает целесообразное и органическое бытие» [20, с. 416–417]. Смысл, таким образом, не просто заменяющий значение посредник, как у Л.С. Выготского, он есть мысль, понимаемая как становление. Г.Г. Шпет постоянно говорит о нем, когда обсуждает все формы слова и их содержание, которое тоже осмысленно. Подобная трактовка смысла может рассматриваться как выполнение пожелания Мандельштама о равноправии смысла, Логоса, с другими элементами слова. Метафора смысла как наполнения кровеносной системы вполне может конкурировать с метафорой смысла, принадлежащей М. Веберу: человек – это животное, подвешенное в паутине смыслов, которую он сам же сплел. Можно добавить – из своего собственного бытия.

Как бы в ответ на предположения Л.С. Выготского о возможности существования «чистых значений» и П.Я. Гальперина о «чистой мысли» Г.Г. Шпет пишет: «Чистый смысл, чистое содержание мысли, буквально и абсолютно, такая же невозможность, как и чистое чувственное содержание... Чистое содержание как предмет анализа есть содержание с убывающе малым для него значением формы» (там же). И наконец, о невозможности чистой мысли. Как бы мысль ни была «расплывчата и неуловима, она «дается» в чистом виде в формах, хотя неопределенных, сознания. Это всегда есть мысль, на что-то направ-

ленная, хотя бы оно представлялось как самое расплывчатое «*ничто*», «*что-то*», и оно-то уже – *minimum* той «естественной» формы, без которой мысль немислима. Этот *minimum* формы онтологической бытием своим уже предполагает также хотя бы *minimum* формы логической. И следовательно, *minimum* мысли постулирует также *minimum*, некоторый эмбрион словесности. Поэтому-то так детски беспомощны попытки изобразить мысль бессловесную. Они рисуют мыслителя в виде какого-то *глухонемого*, погруженного в «чистое» мышление, как в клубы табачного дыма, и притом глухонемого не эмпирического живого, потому что последний непременно для мысли обладает своими средствами ее воплощения и передачи, а глухонемого бесплотного – не то ангела, не то беса» [20, с. 417–418].

Остается добавить, что, смысл, согласно Г.Г. Шпету, укоренен в бытии и не только этимологически есть со-мысль [там же, с. 455]. Характеристика смысла как со-мысли замечательна сама по себе. Выше упоминалось о смысле двигательных, перцептивных, мнемических задач, а соответственно, речь должна идти и о смысле действий, направленных на их достижение. Побочным результатом успешного решения перечисленных задач является построение соответствующих им предметных, операциональных, перцептивных значений. Следовательно, значениям предшествует смысл или со-мысль, которая ищет и находит в них свое воплощение.

Характеризуя внутреннюю форму слова, Г.Г. Шпет большое внимание уделяет динамичности логических смысловых форм. Проиллюстрирую эту динамику описанием рождения смысла поэтической речи, имеющимся у его *вольного или невольного* (?) единомышленника – О. Мандельштама. Общими были у них не только мысли, но и судьба. Поэт погиб в Гулаге через год после убийства Г.Г. Шпета. Характеризуя отличие орудийной поэзии Данте и отличая ее от внешней поясняющей образности, О. Мандельштам пишет: «Смысловые волны-сигналы исчезают, исполнив свою работу: чем они сильнее, тем уступчивее, тем менее склонны задерживаться... Качество поэзии определяется быстротой и ре-

шимостью, с которой она внедряет свои исполнительские замыслы-приказы в безорудийную словарную, чисто количественную природу словообразования. Надо перебежать через всю ширину реки, загроможденной подвижными и разноустремленными китайскими джонками, – так создается смысл поэтической речи. Его, как маршрут, нельзя восстановить при помощи опроса лодочников: они не расскажут, как и почему мы перепрыгивали с джонки на джонку» [15, с. 109].

Впрочем, и позиция самого Г.Г. Шпета выражена не только определенно, но и энергично. Читатель волен ее воспринимать либо как дополнение к позиции Л.С. Выготского, либо как упреждающую критику и предупреждение самому себе, чтобы он не оказался рядом с Л.С. Выготским на тех же «качелях». В 2001 г. В.В. Бибихин использовал тот же образ «качелей», анализируя размышления А.А. Потебни о мысли и слове. Он вел анализ без учета противоречивой позиции Л.С. Выготского и предельно ясно выраженной позиции Г.Г. Шпета. Завершая анализ, он воскликнул: «Будет ли конец этим качелям?» Тем не менее взгляды А.А. Потебни весьма поучительны, прежде всего, с точки зрения его влияния на Л.С. Выготского, который единственный раз отдал должное понятию внутренней формы, да и то лишь в контексте своих размышлений о психологии искусства. Он использовал это понятие в интерпретации А.А. Потебни, а не В. Гумбольдта и Г.Г. Шпета: «В каждом слове, как показала это психологическая система языкознания, мы различаем три основных элемента: во-первых, внешнюю звуковую форму, во-вторых, образ, или внутреннюю форму, и, в-третьих, значение. Внутренней формой называется при этом ближайшее этимологическое значение слова, при помощи которого оно приобретает возможность означать вкладываемое в него содержание. Во многих случаях эта внутренняя форма забылась и вытеснилась под влиянием все расширяющегося значения слова» [6, с. 29]. Далее, Л.С. Выготский критикует А.А. Потебню за пристрастие к ассоциативным и сенсуалистическим направлениям в психологии и воз-

ражает ему в духе приведенного выше протеста О. Мандельштама против сведения поэзии к внешней поясняющей образности. Тем самым Л.С. Выготский утрачивает интерес к образу как к составной части внутренней формы, о котором говорит А.А. Потебня. После вытеснения внутренней формы между звуковой формой и значением происходит нечто вроде короткого замыкания. Понятие внутренней формы утрачивает конструктивный смысл, и Л.С. Выготский, действительно, забывает или вытесняет его и больше к нему не возвращается.

Л.С. Выготский едва ли заслуживает упрека по поводу такого отношения к понятию внутренней формы в интерпретации ее А.А. Потебней. С точки зрения Шпета, сведением внутренней формы к образу и этимологии А.А. Потебня компрометирует «понятие внутренней формы языка» [20, с. 447]. Не только компрометирует понятие, но и загоняет себя и проблему мысли и слова в удивительно интересную ловушку. Приведем ее описание В.В. Бибихиным (внутри длинной цитаты фразы в кавычках принадлежат А.А. Потебне): «Потебня, едва сказав было, что только понятие и слово вносят порядок и законность в мир, начинает смотреть на слово «как на посторонний и произвольный знак»... Развивающаяся мысль вбирает в себя понятия и образы, ее ускоряющийся порыв подстегивает и подкрепляет сам себя. Чистая мысль стремится к свободе. «Вместе с образованием понятия теряется внутренняя форма, как в большей части наших слов, принимаемых за коренные... Слово становится чистым указанием на мысль, между его звуком и содержанием не остается для сознания говорящего ничего среднего». Кажется, что исчезновение внутренней формы, выход словесного звука напрямую к тому, о чем идет речь, должны печалить поэтично А.А. Потебню; ничего подобного. Наоборот, способность выбросить из себя всю гирлянду внутренних форм и других оборотов значения представляется теперь А.А. Потебне достоинством языка. «Несправедливо было бы упрекать язык в том, что он замедляет течение нашей мысли». В стремительной мысли высшее достоинство человека. В минуты ответственных

решений чистая мысль как стрела нацелена на суть дела и всякая примесь привесков, плюмаж «внутренних форм» ее отягочит. Ничего этого не надо. «Нет сомнения, что действия нашей мысли, которые в мгновение своего совершения не нуждаются в непосредственном пособии языка, происходят очень быстро».

Заметим это: не нуждаются в пособии языка. То есть мысль обходится без языка вообще. Дальше: «В обстоятельствах, требующих немедленного соображения и действия, например при неожиданном вопросе, когда многое зависит от того, каков будет наш ответ, человек до ответа в одно почти неделимое мгновение может без слов передумать весьма многое». Заметим «без слов передумать», потому что следующая фраза вот какая: «Но язык не отнимает у человека этой способности, а напротив, если не дает, то по крайней мере усиливает ее».

Надо было бы назвать это блестящим абсурдом, если бы существовало такое выражение. Язык не отнимает у человека способность мыслить без языка, но усиливает ее, а то и вообще ее дарит. Нетрудно было бы понять это в том смысле, что язык тренирует мысль исподволь, научая ее обходиться без его опоры; слово, так сказать, постепенно доводит мысль до молниеносной бессловесной быстроты. А.А. Потебня говорит другое: «Слово, раздробляя одновременные акты души на последовательные ряды актов, в то же время (!) служит опорой врожденного человеку стремления обнять многое одним нераздельным порывом мысли». То есть слово имеет место сразу и в медленном составлении мысли из образов, и в стремительном полете, «нераздельном», т.е. не размеченном словообразами. Иначе говоря, слово есть и там, где слова нет, а есть только единая целустремленная мысль, имеющая дело прямо с сутью дела. Слово умеет быть так, что его нет. Для порыва мысли оно не существует и все равно служит такой мысли «опорой». Позвольте, но ведь «опорой» чистой мысли, которая «не нуждается в пособии языка», думает «без слов», у нас была обнаженная суть дела – сами вещи. Откуда снова слово, когда его, сказано, уже нет? К че-

му тут пробивается А.А. Потебня? К какой свободе от языка, даримой самим же языком? Мы в нетерпении, чуть ли не в раздражении. Мало было метаний от опоры на слово к опоре на вещи. Теперь нам вручили откровенное противоречие: слова нет в «порыве мысли» и оно все равно есть, создает или усиливает этот порыв.

Мы не можем следовать за А.А. Потебней, если сами не думали о том же, если приоткрывающийся здесь пейзаж пусть отчасти не прояснился для нас по крайней мере в главных вопросах и загадках. Настойчивые попытки Потебни разобраться в клубке «мысль–вещь–мир–слово–язык» достойны того, чтобы упорство проявили и мы [2, с. 90–92].

Не знаю, содержался ли текст в порыве В. Библина, но в его тексте энергичный и экспрессивный порыв, несомненно, содержится. Хотя Г.Г. Шпет, казалось бы, снял проблему «качелей», чего не заметил или не захотел заметить Л.С. Выготский, В. Библин, с помощью А.А. Потебни, вновь вернулся ее для обсуждения и рекомендует проявить упорство. Последуем его рекомендации.

В проблеме взаимоотношений мысли и слова Л.С. Выготский – решительный сторонник А.А. Потебни. Он охотно и неоднократно повторяет столь же красивую, сколь и таинственную «формулу» А.А. Потебни: «Умение думать по-человечески, но без слов дается только словом» [5, т. 4, с. 101]. Куда же деваются слова? Вопрос адресован в равной степени А.А. Потебне и Л.С. Выготскому. В основании парадокса А.А. Потебни (назовем так его «формулу») лежат два обстоятельства. Первое – это общераспространенное представление о мгновенности, simultанности мысли, скорости которой якобы ни с чем несоизмерима. Второе, вытекающее из первого, – ложная или крайне бедная характеристика внутренней формы слова, ее роли и судьбы в актах возникновения и развития мысли. Начнем с simultанности, памятуя о том, что simultантным может быть и зрение, и даже осязание.

Проблема насыщенности, наполненности неделимого мгновения не нова. Замечательен пример мгновенной репрезентации

внешнего мира: «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени...» (Лк 4, 5). Не менее удивительна скорость репрезентации нашего собственного опыта. При том, что объем нашей памяти не имеет отчетливых границ, она характеризуется мгновенной готовностью. Сказанное относится и к вербальной памяти. Не только поэт, как говорил И. Бродский, но все мы в каждый момент времени обладаем языком во всей его полноте. А у поэта еще строфика, синтаксис. И. Бродский как-то заметил, что они с А. Ахматовой знают все рифмы русского языка. А ведь язык – это не только средство общения и мышления. Он сам по себе – целый и мгновенно доступный нам (и, кажется, без помощи диавола) мир. Мир, который мы носим в себе или с собой. Конечно, бывают мыльные сердцу З. Фрейда оговорки, бывает и вытеснение, но, как известно, исключение лишь подтверждает правило. В исследованиях моторики (motor control or performers) также обнаружены моторные единицы (в составе неделимых по определению квантов действия), имеющие длительность 40–50 мс и по-разному реагирующие на внешние воздействия [8]. Поразительно, что они, при всей своей неделимости и малости, имеют индивидуальные черты. Решающую роль в этом играют смысловые волны-сигналы, не только омывающие дискретную моторику, но и внедряющие в нее свои исполнительские замыслы-приказы (ср. с приведенным выше описанием О. Мандельштама). Благодаря этому мгновенность осмысленна и продуктивна. Она характеризует, таким образом, не когнитивную, но поведенческую сферу. Не стану умножать примеры.

* * *

Все равно остается вопрос, в чем воплощены порывы, замыслы, смыслы до их реализации (см. выше). Л.С. Выготский соглашался с тем, что слово умирает в мысли. Г.Г. Шпет категорически возражал против этого. Потебня оставил нам двусмысленный ответ: умирает и живет. Где искать ответ?

Может быть, найти его поможет обращение к понятию внутренней формы. Самое простое – это *потерять* или *выбросить* всю

гирлянду или балласт внутренних форм слова, чтобы он не *замедлял* течения нашей мысли. Это вариант А.А. Потепни, с которым согласился Л.С. Выготский. Не это ли вызвало в свое время пренебрежительное замечание Г.Г. Шпета относительно трактовки Потепней понятия внутренней формы? Правда, Г.Г. Шпет не вдавался в аргументацию своей уничижительной оценки, которая, на мой взгляд, не вполне справедлива. Г.Г. Шпет отвергал возможность участия образа во внутренней форме слова. Он делал лишь одно исключение – поэтическое слово, в котором в качестве внутренней формы образ может присутствовать. Мне представляется, что в этом позиция А.А. Потепни более обоснованна, чем позиция Г.Г. Шпета. Для последнего, знавшего 17, а по другим сведениям – 19 языков, слово, смысл и логика были самодостаточны и не нуждались ни в каких других подпорках. Поэтому Г.Г. Шпет как бы инкапсулировал внутреннюю форму в языке и слове. Обратимся к истокам понятия внутренней формы.

Не забираясь в античность, начнем с В. Гумбольдта. Вначале он использовал это понятие для характеристики человека, произведения искусства и лишь затем языка. В. Гумбольдт заменил понятиями внешней и внутренней формы весьма неопределенные термины «внешнего» и «внутреннего», которые до сих пор широко распространены в психологии. Попробуем распространить эту замену и на психологию.

Действие человека Н.А. Бернштейн рассматривал как функциональный орган индивида, который реактивен, эволюционирует, инволюционирует, обладает биодинамической тканью. А.В. Запорожец добавил к этим свойствам свойства ощущаемости движения, его чувствительность. Н.А. Бернштейну принадлежит метафора: «Действие – живое существо» (ср. выше: подобная метафора использована Г.Г. Шпетом применительно к слову). Это дает основания рассматривать действие, его биодинамическую ткань как внешнюю форму, имеющую и свою внутреннюю форму (или внутреннюю картину, как говорил А.В. Запорожец). Во внутреннюю форму действия входит образ ситуации, в которой оно осу-

ществляется, образ потребного будущего, т.е. образ ситуации, которая должна быть достигнута в результате действия, и образ действий, которые должны быть выполнены для достижения желаемого. Иными словами, образ интенционален. Более того, Декарт образы действия называл страстями. Во внутреннюю форму действия входит и слово, обеспечивающее его целесообразность и регулирующее его протекание. При этом слово может входить в нее со всей «гирляндой» или «бахромой» своих внутренних форм.

В свою очередь, образ, также рассматриваемый как функциональный орган, имеет свои внешние (чувственная ткань) и внутренние формы. В последних могут содержаться перцептивные действия, которые привели к его формированию, и слово, с помощью которого он может быть актуализован, внушен и т.п. Трактовка образа как функционального органа предполагает, что «с самого начала формирующийся образ предмета есть некоторый проект реальности, и именно эвристический проект реальности, подвергающийся затем многократной проверке и перестраиванию на основании практического сличения с реальностью» [18, с. 274].

Наконец, слово (которое тоже есть функциональный орган), рассматриваемое как внешняя форма, может содержать, в дополнение ко всем онтическим и внутренним формам, о которых писал Г.Г. Шпет, образ и действие. Не забудем, что и само слово может выступать в роли действия – перформатива. «Словом останавливают Солнце, словом разрушают города», – утверждал поэт Николай Гумилев.

Во всех перечисленных случаях форма внутренняя оказывается виртуальной, а форма внешняя – вполне реальной. Легко заметить, что слово, действие, образ выступают в роли то внутренней формы, то внешней, что позволяет сделать общий вывод об обратимости внешних и внутренних форм. Невидимая внутренняя форма превращается в видимую, а последняя, в свою очередь, становится невидимой. Нечто подобное происходит с действием и страстью, с мыслью и словом, смыслом и значением. Метафора ленты Мёбиуса, использо-

ванная для характеристики взаимоотношений последних, пригодна для любых внешних и внутренних форм. Согласно такой логике, внутренние формы не исчезают, а продолжают участвовать в восприятии, памяти, мышлении, действии.

Действие, образ, слово, чувство, мысль, воля, т. е. все то, что объединяется понятиями «психические процессы», «психические акты», «силы души», представляют собой живые формы. А раз живые, то, следовательно, активные, содержательные, незавершенные, беспокойные... Как душа! Каждая из них не является «чистой культурой». Одна форма содержит в себе другие. Работает древний принцип: «Всё в одном, одно во всём», что не мешает их относительно автономному существованию. Но, и сохраняя автономию, они «помнят» о своем происхождении и остаются гетерогенными формами. Гетерогенность образа, слова и действия зафиксирована во множестве поэтических метафор: «умное делание», «око души», «поэтические органы чувств», «органы чувств-теоретики», «кинетическая мелодия», «живописное изображение», «разумный глаз», «глазастый разум», «душой исполненный полет» (о балете), «зрячих пальцев стыд» и т.п. Во внутренних формах действия и образа имеются свои динамические формы, подчиненные смыслу двигательных или перцептивных (возможно, созерцательных) задач. Известно, что мы можем внутренне проиграть действие до действия или после действия (если уже не поздно!), можем манипулировать образом, трансформировать (mental rotations) его и т.п. Динамические формы слова, образа и действия обогащают друг друга. Образ и действие, как и слово, выполняют оперативные функции, которые, как и в случае слова, могут отделяться от значения. На последнее обращал внимание Г.Г. Шпет. Мгновенности мысли может быть поставлена в соответствие simultaneity образа, а возможно, и внутреннее проигрывание действия. Наконец, между словом, образом и действием возможен обмен функциями, в том числе, видимо, интеллектуальными. Говорим же мы о визуальном или музыкальном мышлении. Проигрывает же опытный дирижер во

внутреннем плане за 1–2 минуты целую симфонию.

Сказанного достаточно, чтобы вернуться к «бессловесному порыву», «бесплотному замыслу», к ситуации, парадоксально представленной А.А. Потембиной и В. Бибиным: «слово есть и там, где слова нет». Слово не умирает в мысли. Скорее, мысль умирает или тонет в словах. Истина ведь может рождаться, возрождаться в спорах, а может и вырождаться. Мысль, видимо, имеет свою собственную внутреннюю форму, что должно стать предметом серьезных размышлений. В начале этого текста вовсе не случайно был приведен веер самых разных ответов на вопрос о том, что стоит за мыслью. И если, например, во внутреннюю форму мысли входит образ, то во внутреннюю форму последнего входит слово. То же самое и с действием, то же самое и со страстью, о которой Р. Декарт говорил, что действие и страсть – одно. Подобную логику можно рассматривать в качестве первого приближения к разрешению парадокса: «слово есть и там, где его нет». И в подоплеке, и на вершинах не только сознания, но и всей психики лежит слово. И мы никаким чудом уже не можем оказаться в нашем бессловесном прошлом.

Попробуем подойти к проблеме мысли и слова со стороны рождения мысли, и не только мысли. Что происходит в процессе создания нового? Посмотрим на проблему сквозь призму понятий внешней и внутренней формы.

Муки воплощения внутренней формы в творчестве связаны с тем, что «внутри» уже дано или мелькнуло как образ, как мысль, как идея, по крайней мере так кажется, а выразить вовне, воплотить не удается. Воплощенное не соответствует чувствуемому «внутреннему совершенству», которое, впрочем, может быть иллюзорным. Мы вплотную подошли к тайне творчества. Наша задача если не раскрыть тайну, то хотя бы понять, в чем она состоит и где скрыта. Обратимся к разделению форм на внешние и внутренние, разумеется, не отрицая того, что они могут быть более или менее содержательными. Прислушаемся к Г.Г. Шпету: «В идее можно даже сказать: *форма и содержание – одно*. Это

значит, что чем больше мы будем углубляться в анализ заданного, тем больше мы будем убеждаться, что оно *ad infinitum* идущее скопление, треплетение, ткань форм. И таков собственно даже закон метода: всякая задача решается через разрешение данного содержания в систему форм» [20, с. 425]. Но это содержание уже выражено на языке неких форм, пусть даже форм неосознаваемых, во всяком случае трудно визуализируемых и вербализуемых. Без этого оно просто не существует. Задача может состоять в том, чтобы освободить его от них, выразить в иной форме, тем самым осознать его самому, увидеть, предъяснить другим. Иными словами, разрешить (воплотить) содержание в формы слова, образа или действия. Выше уже шла речь о том, что действие, слово и образ постоянно «прорастают» друг в друга, переплетаются и обогащают друг друга, образуют бахрому форм. На этом основано, на этом строится и развивается цементирующее их смысловое единство.

Если мы возьмем привычное разделение психических процессов, то для перцепции важна чувственная ткань (ткань чувственных форм), для действия – биодинамическая ткань, для чувства – аффективная ткань. Сказанное лишь ограничено верно, так как в формировании образа, чувства и действия участвуют все перечисленные виды ткани. Равным образом и для слова характерно переплетение чувственной, биодинамической и аффективной тканей. Как говорилось выше, психология знает разные пути к мысли: от действия, от образа, от слова, от чувства. Вся эта разногласия объясняется тем, что на мысли, как и на произведении искусства, которое, конечно, тоже есть мысль, нет «говорящих следов» (выражение Н.Н. Волкова) творческого процесса их созидания. Вот что о происхождении мысли говорит М.М. Бахтин: «В себе значимое содержание возможного переживания – мысль не падает в мою голову случайно, как метеор из другого мира, оставаясь там замкнутым и непроницаемым. Оно вплетено в единую ткань моего эмоционально-волевого, действительно-живого мышления-переживания как его существенный момент» [1, с. 36]. Значит,

при всей возможной, иногда поразительной глубине и прозрачности мысли, по своему происхождению она гетерогенна, синкретична. В ее порождении участвуют все силы души. То же и с другими творениями человека, в том числе с поражающими своим совершенством произведениями искусства. Попробуем хотя бы схематически представить, что происходит при их создании.

Разместим слово, образ и действие в углах треугольника – любимой фигуры философов, лингвистов, психологов. В нашем варианте слово, действие и образ взаимно отражаются, порождаются, опосредствуют, а по сути развивают и строят друг друга. Это своего рода функциональная полифония и полисемия, предполагающие выделение ведущей ноты, голоса, доминирующей формы. Если нужен поясняющий образ, то подобное выделение может быть представлено как мысленное вращение треугольника по или против часовой стрелки. В результате вращения («качения») его вершиной может стать любой из этих функциональных органов, выступающих в роли средств решения задачи. (Образ «качелей» преследует и меня: от него очень трудно освободиться.) Доминирование того или другого определяется не только предметным содержанием и смыслом решаемой задачи, но также арсеналом динамических внутренних форм, которые могут быть логическими, в смысле Г.Г. Шпета, а могут подчиняться особой логике перцептивных действий (оперирование и манипулирование, например, зрительным образом) или логике предметных исполнительных действий (от манипулятивных до орудийных).

Еще раз прислушаемся к рассказу А. Эйнштейна М. Вертгеймеру о работе над теорией относительности, занявшей 7 лет. Главным на протяжении всего этого времени было «ощущение направленности, непосредственного движения к чему-то конкретному. Конечно, очень трудно выразить это ощущение словами, но оно определенно присутствовало и его следует отличать от более поздних размышлений о рациональной форме решения. Несомненно, за этой направленностью всегда стоит

что-то логическое, но у меня оно присутствует в виде некоего зрительного образа» [3, с. 263–264] Такое качение есть правило и норма; оно представляет собой опробование цели (задачи) средствами, поиск языка, на котором задача имеет решение. Доминирование не исключает, а предполагает сотрудничество. Не забудем, что, какой бы язык решения ни был выбран, он содержит в качестве своей внутренней формы остальные. Отношения между словом, действием и образом предполагают также взаимозаместимость. К. Лешли сказал бы: эквивалентность, конечно имеющую определенные границы, не полную.

«Треугольник» – это довольно скучная метафора. Происходящее напоминает, скорее, духовный и интеллектуальный тигель, в котором переплавляются, смешиваются, разведываются внутренние формы слова, действия, образа. В нем «внутренний огонь, пламенея то больше, то меньше, то ярче, то приглушеннее, то живее, то медленнее, обычно переливается в выражение каждой мысли и каждой рвущей вовне череды образов» [9, с. 105]. *Переливается* и во внешнее выражение мысли. Каждая из участвующих в «переплавке» форм не является «чистой культурой». Будучи переплетены друг с другом, да еще со своим содержанием, они составляют ахматовский сор, из которого «растут стихи, не ведая стыда». Имеющий философское образование Б. Пастернак выражал это более академично: «Самое сложное – это хаос. Искусство – это преодоление хаоса, как христианство – преодоление доисторических массивов времени. Доисторический хаос не знает явлений памяти: память – это история и память – это искусство. Прошлое вне памяти не существует. История и искусство – дети одной матери – памяти. Искусство – это упрощение, как возвышение, а не как снижение: это реальность, выкристаллизованная на хаосе, который по своей природе антиреален. Он есть, но его не существует, т.е. он существует только через искусство и историю, через лица наперекор безличью хаоса...»

Не вдаваясь в дискуссию Б. Пастернака и В. Шаламова о допустимости в поэзии неполной, неточной ассонирующей риф-

мы, приведу соображения В. Шаламова о его понимании поэтического творчества: «... рифма ведь это не только крепь и замок стиха, не только главное орудие, ключ благозвучия. Она – и главное ее значение в этом – инструмент поисков сравнений, метафор, мыслей; оборотов речи, образов – мощный магнит, который высовывается в темноту, и мимо него пролетает вся вселенная, оставляя в стихотворении ничтожную часть примеряемого. Она – инструмент выбора, орудие поэтической мысли, орудие познания мира, крючок невода – стихотворения, и нет, мне кажется надобности во имя только благозвучия отсекаать заранее часть невода. Добыча будет беднее» [16, с. 535].

В этом рассуждении пролетающая вселенная – это тот же ахматовский сор, или бахрома внутренних форм, всплывающая спонтанно либо под влиянием текущих впечатлений. А рифма выполняет функцию поискового образа и детерминирующей тенденции (в понимании Н. Аха), определяющих выбор нужного. Взятые вместе, «невод» и «крючок», обеспечивают смысловое единство (невод) и внешнее совершенство-благозвучие (крючок).

И все же главная загадка состоит в том, как множественные гетерогенные формы в результате своего взаимодействия в конце концов на выходе дают чистейшие формы, порождают, «выплавляют» *стиль*. Стиль слова, живописи, скульптуры, музыки, танца, стиль мышления и мысли, порождающий, например, «геометрическое красноречие», стиль поведения, наконец. Стиль глубоко индивидуальный, «прозрачный» или «темный», который ни с каким другим нельзя спутать. Как бы далеко ни продвигаться по пути разгадывания этой загадки, нужно осознавать, что в актах творчества имеется элемент волшебства, или, по словам Б. Пастернака, «осязаемого колдовства или алхимии, от чего произведения искусства кажутся не отражением или описанием жизни, но случайно выломанным куском самой плотности бытия, формообразующей сути существования» [там же, с. 366–367].

Иное дело, сумеем ли мы увидеть это волшебство, сумеем ли проникнуть, уви-

деть за такими чистейшими формами бахрому их внутренних форм, их смысл и значение. Это уже проблема нашей эстетической культуры, вкуса, богатства или бедности нашей собственной внутренней формы.

В созданных внешних формах и за ними таятся пласты невидимых внутренних форм. «За поверхностью каждого слова таится бездонная мгла», – говорил поэт Н. Заболоцкий. «Чистая форма» – это палка о двух концах. Когда, например, словесная культура не подпитывается образом, действием, аффектом, волей, она превращается в столь же чистое бескультурье. То же и с образом и действием. Мы тогда получаем полое слово, штамп, звук пустой, рефлекс, моторную персеверацию, механическое движение, косный образ, запечатанный символ и вообще «мертвую точку зрения». Если за внешней формой не скрывается переплетение, бахромы внутренних форм, то она оказывается бессодержательной, бессмысленной.

Понятие «внутренней формы», несмотря на давность его существования, медленно входит в концептуальный аппарат психологии. Чтобы облегчить его принятие, сделаем необходимое разъяснение. Сегодня стало общим местом рассмотрение мира как текста, который мы ленимся читать, рассмотрение человека как текста, который мы читаем еще хуже. Нельзя ли любую внутреннюю форму слова, в том числе образ, действие, чувство, тоже представить как слово, иногда вербальное, чаще невербальное? «Невербальное внутреннее слово» – понятие, принадлежащее М.К. Мамардашвили. Или представить как «эмбрион словесности» (Г.Г. Шпет), а не ее прах (А.А. Потебня, Л.С. Выготский).

Я, конечно, понимаю, что называние внутренней формы невербальным словом не облегчает мук ее вербализации или воплощения в другом материале – тексте. Но все же мне представляется, что по крайней мере поэтам, говорящим о «поэтической материи», подобное разъяснение будет близко. Начнем с вопросов А.С. Пушкина:

Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепыханье,
Жизни мышья беготня...

Что тревожишь ты меня?

Что ты значишь, скучный шепот?

У О. Мандельштама невнятный *шепот*, который и *музыка*, и *слово*, и *silentium*, появляется прежде губ:

Быть может, прежде губ уже родился шепот

И в бездревесности кружились листья,

И те, кому мы посвящаем опыт,

До опыта приобрели черты.

И наконец, гимн безмолвному Слову:

Если утраченное слово утрачено,

Если истраченное слово истрачено,

Если не услышанное, не сказанное

Слово не сказано и не услышано, все же
Есть слово не сказанное, Слово не услышанное,

Есть Слово без слова. Слово

В мире и ради мира;

И свет во тьме светит, и ложью

Встал против Слова немирный мир,

Чья ось вращения и основа –

Все то же безмолвное Слово...

Т. Элиот (Пепельная среда. V. 1930)

Разумеется, эмпирически мы переживаем невербальное внутреннее слово как трудно выразимые в словах ощущения, образы, чувства, знаки, символы, мысли о чем-то и т.п. При этом мы можем отчетливо наблюдать временной зазор между возникшим переживанием и его вербальной артикуляцией, если последняя, конечно, удастся. А.А. Ухтомский на основании детальных дифференцировок деятельности «речевого центра» или речевой констелляции в центрах пришел к следующему обобщению: «... при первом ориентировочном анализе процесса речи легко различить психофизиологически два главных прибора с отчетливо различными исходными скоростями работы. Их можно назвать в самом общем виде так: а) *компоненты словоосуществления* и б) *компоненты мысли*. В порядке самонаблюдения легко дать отчет в том, как относительно быстро пробегает и складывается мысль, ожидающая высказывания, и как относительно медленно и с трением осуществляется первоначальное высказывание. Несоответствие в скоростях и темпах нередко приводит к тому, что идущие с толчками и затруднениями попытки выразить мысль в речи начина-

ют сбивать ход мысли, и в результате получается торможение речевого процесса. Это испытано, вероятно, всяким начинающим и мало тренированным преподавателем и оратором. Таким образом, нормальные компоненты речевого процесса могут оказаться фактически в положении конфликта между собой вследствие несоответствий во времени интервалов и скоростей, в которые они протекают... Лишь взаимным сонастраиванием на некоторый средний «сочувственный ритм» работы (т.е. частью снижением более высоких темпов деятельности, частью подбадриванием более высоких темпов деятельности в других компонентах) оратор достигает однообразного марша возбуждений в речевой констелляции центров» [18, с. 152–153].

Здесь интересны понятия «сочувственного ритма» и «рабочего марша» в налаженной текущей работе. Этот по сути психолого-практический анализ воплощения мысли в слове был дан А.А. Ухтомским в 1937 г. Спусти несколько лет он вернулся к нему и ввел понятие «хронотопа»: «Известное соответствие во времени между «ходом мысли» и скоростью укладывания мысли в речь является условием упорядоченной и плавной речи. Требуется дисциплина речевого процесса в смысле сдерживания обильно идущего потока образов и мыслей применительно к темпу словосочинения...

... Увязка во времени, в скоростях, в ритмах действия, а значит в сроках выполнения отдельных механизмов реакции, впервые образует из пространственно разделенных ганглиозных групп функционально определенный «центр». Тут вспоминается известное напоминание Германа Минковского, что пространство в отдельности, как и время в отдельности, является «тенью реальности», тогда как реальные события протекают безраздельно в пространстве и времени, в хронотопе. И в окружающей нас среде, и внутри нашего организма конкретные факты и зависимости даны нам как порядки и связи в пространстве и времени между событиями» [18, с. 268–269].

Подобная «хронотопическая» трактовка психологических и физиологических событий применительно к «укладыванию мысли в речь» и к другим аналогичным событиям,

которые изучают психология и физиология, дает возможность снять или существенно ограничить оппозицию внешнего и внутреннего. Вспомним, что к подобному ограничению ведет и использование понятий внешней и внутренней форм, которым было уделено большое внимание в настоящем тексте. Если внутренняя форма рождается вовне, а внешняя форма рождается внутри, то это не только ограничивает оппозицию внешнего и внутреннего, но и ограничивает или снимает проблематику начала и конца, которой нет места и в логике активного хронотопа. Теряет смысл вопрос, что раньше – мысль или слово:

Что мы считаем началом, часто – конец,
А дойти до конца означает начать сначала.

Конец – отправная точка. Каждая верная фраза

(Где каждое слово дома и дружит с соседями,

Каждое слово всерьез и не ради слова
И служит для связи былого и будущего,
Разговорное слово точно и невульгарно,
Книжное слово четко и непедантично,
Совершенство согласия в общем ритме),

Каждая фраза содержит конец и начало,
Каждое стихотворение есть эпитафия.

И каждое действие – шаг к преграде, к огню,

К пасти моря, к нечетким буквам на камне:

Вот откуда мы начинаем.

Т. Элиот (Литтл Гиддинг. IV)

Стихи поэта, как и соображения А.А. Ухтомского, можно принять в качестве рекомендаций разумной практической психологии, но на сей раз не формальные, а эстетико-этически окрашенные. Если их поставить рядом с приведенным выше отрывком из «Пепельной оды», то мы увидим, что для Т. Элиота была столь же относительной «проблема первичности» Слова и Дела, как и вся проблема начала и конца.

В моем начале – мой конец...

В моем конце – начало.

Поэта больше волновало, что мы, получив свободу выбора, колеблемся «между бесплодной мыслью и необдуманном делом».

Вернемся от поэтической метафизики к философско-психологической. Согласно Г.Г. Шпету, функции стоящего за мыслью эмбриона словесности могут выполнять знаки и символы. Ими могут быть и имена собственные, представляющие собой символическое выражение «неизреченного». Г.Г. Шпет видел единственный путь к их «уразумению в чистом раскрытии символов, в их разоблачении и, следовательно, в раскрытии затаенного» [21, с.112]. Аналогично обстоит дело и с идеей, эйдосом в платоновском смысле слова. На саму сущность мы смотрим как на знак, говорил Г.Г. Шпет. «Переход от знака к смыслу вовсе не есть “умозаключение”, а по крайней мере в основе своей это есть первичный и непосредственный акт “усмотрения” смысла. В этой первичности мы его и отыскиваем. Семасиологическое принятие самой сущности *eo ipso* заставляет искать в ней, как “начале”, *смысл*, который раскрывается перед нами как *разумное основание*, заложенное в самой сущности; сущность в своем содержании здесь исходит из разума как из своего начала. В конечном итоге можно сказать, сам предмет выступает здесь не как “задача” в собственном смысле, а как *знак* того, что *здесь* – задача и, следовательно, самая формулировка ее еще прямо не дана, а “будет” найдена в процессе расшифровки знака ее» [там же, с. 316]. Здесь Шпет размышляет не об абстрактной мысли, а о мысли в действии. Его интересует философское мышление, когда предметом мысли является сознание. И в этих предельных ситуациях идеального или теоретического мира, открытого в античности Парменидом, мысль не бесплотна. За нею, если не слово, то символ, знак, смыслообраз, подлежащие расшифровке, разоблачению, пониманию и воссозданию, воплощению в слове ли, в образе ли или в действии.

Еще раз вернемся к анализу гипотетического творческого акта. Если в начало «бессловесного порыва» положить символ (отвлекаясь от того, что он сам есть и вещь и идея, т.е. слово), то необходимым этапом должна быть его расшифровка, разоблачение, проникновение в его таинственную внутреннюю форму. Далее происходит на-

правленное оперирование найденным, руководимое некими критериями *внутреннего оправдания*. И наконец облачение, одевание полученного результата в новую форму, руководимое критериями *внешнего совершенства*. Если иметь в виду подлинное произведение искусства, то оно при всем совершенстве внешних форм, в том числе и при всем совершенстве их нарочитого (или вдохновенного, как у Ф. Гойи и Ф. Достоевского) уродства, есть приглашение в свое внутреннее пространство, образованное переплетением внутренних форм, приглашение проникнуть в его внутренние пласты значений и смыслов, проникнуть, наконец, в его внутреннее Слово. Независимо от того, вербально оно или нет.

Что же является источником внутренней формы самого человека? Нельзя ли его представить более конкретно? Моя гипотеза состоит в том, что человек по мере активного, деятельного или созерцательного проникновения во внутреннюю форму слова, символа, другого человека, произведения искусства, природы, в том числе и своей собственной, строит свою внутреннюю форму, расширяет внутреннее пространство своей души. Без такой работы человек оказывается *полим*. Но это уже сюжет для другого рассказа.

Литература

1. Бахтин М.М. Работы 1920-х годов. Киев, 1994.
2. Бибихин В.В. В поисках сути слова // Слово и событие. М., 2001.
3. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М., 1987.
4. Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М. Лев Семёнович Выготский: Жизнь. Деятельность. Штрихи к портрету. М., 1996.
5. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1982–1984.
6. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1987.
7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991.
8. Гордеева Н.Д., Зинченко В.П. Роль рефлексии в построении предметного действия // Человек. 2001. №6.
9. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.

10. *Зинченко В.П.* Идеи Л.С. Выготского о единицах анализа психики // Психологический журнал. 1981. №2.
11. *Зинченко В.П.* Интуиция Н.А. Бернштейна: Движение – живое существо. К 100-летию Н.А. Бернштейна // Вопросы психологии. 1996. №6.
12. *Зинченко В.П.* От классической к органической психологии: К 100-летию Л.С. Выготского // Вопросы психологии. 1996. № 5, 6.
13. *Зинченко В.П.* Мысль и слово Густава Шпета. М., 2000.
14. *Зинченко В.П.* Теоретический мир психологии // Вопросы психологии. 2003. №5.
15. *Мандельштам О.* Слово и культура. М., 1987.
16. Переписка Бориса Пастернака. М., 1990.
17. *Потебня А.А.* Собрание трудов. Мысль и язык. М., 1999.
18. *Ухтомский А.А.* Избранные труды. Л., 1978.
19. *Шпет Г.Г.* Явление и смысл. М., 1914.
20. *Шпет Г.Г.* Сочинения. М., 1989.
21. *Шпет Г.Г.* Философские этюды. М., 1994.
22. *Шпет Г.Г.* Психология социального бытия. М.; Воронеж, 1996.
23. *Шпет Г.Г.* Внутренняя форма слова. Иваново, 1999.